



Жизнь Пушкина

ГОНЧАРОВА
И ДАНТЕС
СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ



АЛЕКСАНДРА АРАПОВА

Жизнь Пушкина

Александра Арапова
**Гончарова и Дантес.
Семейные тайны**

«Алисторус»

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)

Арапова А. П.

Гончарова и Дантес. Семейные тайны / А. П. Арапова —
«Алисторус», — (Жизнь Пушкина)

ISBN 978-5-4438-0847-5

Александра Петровна Арапова (1845–1919), старшая дочь Наталии Гончаровой от второго брака, крестница Николая I, фрейлина императорского двора, оставила бесценные воспоминания о своей матери, которые доносят до нас события жизни жены Пушкина, не искаженные временем. Основанные на собственных наблюдениях, рассказах знакомых, прислуги, слухах в великосветском обществе, а также свидетельствах самой Наталии Николаевны, они представляют непреходящий интерес. Особенно важными по сей день остаются сведения Араповой о взаимоотношениях поэта с Александрой Гончаровой и свидании Н. Н. Пушкиной с Дантесом у Идалии Полетики. В книгу вошли также биографический очерк Жоржа Дантеса, написанный его внуком Луи Метманом, воспоминания Льва Павлищева, сына сестры Пушкина, и свидетельства современников поэта, по-своему проливающие свет на причину рокового поединка.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-4438-0847-5

© Арапова А. П.
© Алисторус

Содержание

А. П. Арапова	6
Конец ознакомительного фрагмента.	17

А. П. Арапова
Гончарова и Дантес. Семейные тайны
(Составление Т. И. Маршковой)

© Маршкова Т. И., составл.,

© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

А. П. Арапова
Наталья Николаевна Пушкина-Ланская
Из семейной хроники жены А. С. Пушкина

Вместо предисловия

Так часто в газетных статьях, литературных изысканиях появлялись не только несправедливые, но зачастую и оскорбительные отзывы о моей матери, что в сердце моем давно зрела мысль высказать всю правду о ее так трагически сложившейся судьбе.

Перед беспристрастным судом истории и потомства я попытаюсь восстановить этот кроткий, светлый облик таким, как он запечатлелся в тесном кругу семьи и редких преданных друзей. Влюбленный муж с чуткостью гениального поэта охарактеризовал свою Мадонну:

Чистейшей прелести чистейший образец, —

и на это сияние тщетно посягала легковверная, праздная толпа.

В предсмертных муках, омыв кровью свою будто бы поруганную честь, Пушкин ясно сознавал, какое тяжелое бремя он необузданным порывом взвалил на плечи неповинной жены: «Бедная! Ее заедят!» — с любовью заботясь о ней, поручал он ее своим близким друзьям.

И зловеще оправдалось пророческое слово! Она не принадлежала к энергичным, самостоятельным натурам, способным себя отстоять. Налетевший ураган надломил ее пышно расцветшую молодость, и с той поры вся ее жизнь улеглась в тесную рамку кротости и смирения. Она была христианкой в полном смысле этого слова. Грубые нападки, ядовитые уколы уязвляли неповинное сердце, но горький протест или ропот возмущения никогда не срывался с ее уст. Единственный только раз укором прозвучал вырвавшийся вопль измученной души, и полвека спустя он еще явственно раздается в моей памяти.

В ее присутствии отец строго остановил меня за осуждение какого-то лица, слишком резко выраженное в мои юные годы, и в заключение добавил:

— Кажется, на что тебе лучше пример в глазах: довелось ли тебе когда-нибудь услышать от матери про кого-либо дурное слово?

— Да, это правда, а, тем не менее, пощадил ли меня кто-нибудь?

И теперь еще в моем воображении стоит чудный облик с беспомощно склоненной головой.

Смерть своим таинственным покрывалом сглаживает все, умиротворяя самую страстную вражду. Недаром людская мудрость изрекла: *de mortuis aut bene — aut nihil*¹, а христианская церковь обещает своим верным последователям вечный покой. Для моей матери закон этот был нарушен, — вероятно, и еще будет нарушаться.

Целую бурю негодования вызвало опубликование писем Пушкина к ней. Чутким сердцем она ее предугадала и поставила неременным условием, чтобы они появились только по смерти моего отца, боготворившего ее светлую память. Нам, ее детям, — как Пушкиным, так и Ланским, — эта газетная травля принесла много тяжелого горя.

В этом сонме ученых, философов, литераторов не нашлось человека, которому бы здравый смысл и жизненный опыт подсказал ту простую истину, что только женщина, убежденная в

¹ О мертвых либо хорошо, либо ничего (*лат.*).

своей безусловной невинности, могла сохранить (при сознании, что рано или поздно оно попадет в печать) то орудие, которое в предубежденных глазах могло обратиться в ее осуждение.

Пушкин в письмах укорял жену в кокетстве, легкомыслии, пристрастии к светской жизни... Это был лишь отголосок той среды, где она вращалась, плоды воспитания первой половины прошлого века, но до нравственного падения тут была целая пропасть. Будь она в самом деле преступна, неужели она бы так доверчиво бросила на суд толпы доселе скрытые стороны своей семейной жизни, изведав в течение стольких лет муку, причиненную ей злобными подозрениями тех, кто ей приписывал преждевременную смерть мужа, – и какого мужа! Гения, оплакиваемого всей страной! Мне сдается по простой женской логике, что именно эта супружеская переписка должна была восстановить в полном блеске добрую память матери, а не вызвать той жестокой оценки, тех комьев грязи, которые безжалостно осыпали ее священную для нас могилу.

Еще с молодых лет меня преследовало желание описать жизнь матери по семейным преданиям, начертить ее духовный облик так, как он запечатлелся в моей восемнадцатилетней голове, и это побудило меня к первому опыту литературного труда. Современники отнеслись к нему снисходительно, но, тем не менее, я остановилась на пути. Слишком близок к сердцу был сюжет, слишком тяжела ответственность не совладать с преследуемой целью. То смущала мысль: зачем тревожить дорогую тень, так измученную воспоминаниями прошлого, так всегда стремившуюся к безвестности и успокоению? То возникал вопрос: какую силу убеждения может иметь бесхитростный рассказ дочери? Всякий волен подумать, что правда и истина невольно растворяются в чувстве благоговейной привязанности.

Теперь, когда я перешагнула шестой десяток лет, в виду близкой могилы, сомнения улеглись. Не хочу унести с собой то, что может вызвать интерес в грядущем поколении. Бессмертное имя Пушкина продолжает сиять по-прежнему даже в страждущей России, а память матери неразрывно связана с ним.

В этих строках прозвучит только правда, и я верю в ее мощь. Может быть, в чем-либо воображении навеянный облик бездушной, легкомысленной красавицы сменится изображением кроткой, страдающей жены, любящей, преданной до самозабвения матери, – тогда я буду у цели и, сомкнув усталые глаза, радостно скажу: «Недаром прожила!»

I

Наталья Николаевна Гончарова родилась 27 августа 1812 года в майоратном имении «Полотняные Заводы» в Калужской губернии, под доходивший гул Бородинской битвы. Она всегда говорила, что исторический день лишает ее возможности забыть счет прожитых годов. Все воспоминания ее раннего детства сосредоточивались в этом родном гнезде, в ту пору еще сохранявшем безумную роскошь миллионного состояния Гончаровых, доведенного до полного расстройства расточительностью ее деда, Афанасия Николаевича.

Одним из первых пионеров русской промышленности был ее прапрадед, Афанасий Абрамович, крестьянин-самородок, обративший на себя внимание Великого Петра своей гениальной предприимчивостью. С его помощью он основал первый завод, на котором изготовлялись полотна для парусов; за успехом этого завода царь следил, несмотря на все свои государственные заботы.

В семейном архиве сохранился автограф Петра, писанный из Голландии, в котором он уведомляет Гончарова, что нанял там и высылает ему мастера, опытного в усовершенствовании полотен, а если выговоренная плата покажется ему слишком высокой, то он готов половину принять за счет царской казны. И в каждом важном случае Гончаров свободно прибегал к доступному всем Преобразователю России, никогда не отказывавшему ему в наставлении или добром совете. Работая не покладая рук, развивая и улучшая насажденное им производство,

Афанасий Гончаров умер, на твердом основании упрочив свое богатство. Сын его, верный заветам отца, продолжал ту же трудовую жизнь. Поместья покупались, оборотный капитал рос с каждым годом, доходы баснословно увеличивались до рождения Афанасия Николаевича, деда Натальи Николаевны.

Единственный сын, балованный, легко увлекающийся, – он с молодых лет поддался растлевающему влиянию екатерининской эпохи, а со смертью отца, став полным властелином, он сбросил обузу дел на руки управляющих, а сам признал достойной себя заботой только планы, как пышнее обставить свою жизнь или как придумать какую-нибудь еще неизведанную забаву.

Сокровища, накопленные до него, казались ему неистощимыми. Императрица Екатерина, путешествуя по России, обещала ему посетить Полотняные Заводы, и новые причудливые постройки выросли из земли, чтобы достойно принять высокую гостью. Ничего не пожалели, чтобы разукрасить покои на самый вычурный, роскошный заграничный лад. Гончаровская охота славилась чуть не на всю Россию, а оркестр из крепостных, обученный выписанными маэстро, и в столицах мог бы занять почетное место. Все эти затеи еще покрывались доходами с заводов и имений, пока тяжелый наследственный недуг не обрушился на жену Афанасия Николаевича, Надежду Платоновну, урожденную Мусину-Пушкину. Она сошла с ума, и не сдерживаемый более ее влиянием, он, уже на склоне лет, предался с юношеской необузданностью страсти к женщинам. Казалось, красавица-любовница всецело завладевала его сердцем и волею; он ничего не жалел для малейшей ее прихоти, но случай наталкивал его на другую, и он моментально охладевал, думал только, как бы поскорее сбыть с рук. Подсовывал жениха, если была незамужняя, отписывал дом в Москве или крупную вотчину, и одновременно все пускал в ход, чтобы достигнуть новой цели. Чем намеченный предмет был или притворялся недоступнее, – тем страсть разжигалась сильнее, и соблазняющие жертвы принимали все более крупные размеры. Дома и имения если не раздаривались, то продавались за бесценок в минуту нужды. Из крупного оборотного капитала постоянно делались заимствования, что не могло не повлиять на успешный ход фабрик. Весьма скоро объемистые, из доморощенного полотна, туго набитые золотом мешки, громоздившиеся по углам кабинета владельцев, так привычные взорам гончаровской челяди, успели отойти в область легенды.

У Афанасия Николаевича был только единственный сын, в котором он и жена его души не чаяли. Высокий, стройный, с классически правильными чертами лица, богато одаренный природой, он рос им на радость, окруженный самыми нежными заботами. По повелению императрицы Екатерины, с самого рождения он был зачислен капралом в Конный полк, но эта высокая, по тогдашним понятиям, милость не пришлась по вкусу его матери. Она находила, что единственный наследник крупного майората не может подвергаться тягостям и лишениям, нераздельным с военной службой.

Тщетно рвался Николай Афанасьевич к улыбавшейся ему карьере: мать оставалась непреклонна, и это взбалмошное сопротивление оставило горький след во всей его жизни. Но взамен она приложила все старания, чтобы его домашнее образование было на уровне самых высоких требований того времени. Лучшим доказательством может послужить выдающаяся роль на государственном поприще, выпавшая на долю юных товарищей Гончарова, взятых ею в дом с целью доставить постоянное общество одиноко растущему мальчику. Это были дети многосемейных, бедных помещиков-соседей, выросшие под гостеприимным кровом, разделявшие как занятия, так и забавы юного наследника, определенные потом его родителями на службу, ими избранную.

Один, Чернышев, поступил в Конный полк, оказавшийся запертым для Николая Афанасьевича. Здесь Чернышев вскоре сумел выделиться умом, ловкостью, образованием и впоследствии обратил на себя внимание императора Александра, прославившись удачной миссией в Париже. Он дослужился до поста военного министра, награжден был княжеским титулом и умер в преклонных годах, достигнув зенита почестей и богатства.

Другой, Бутенев, поступил в иностранную коллегию, где сумели оценить его способности; шаг за шагом восходил он по дипломатическим ступеням и достиг посланнического поста.

И по мере того, как восходила звезда гончаровских воспитанников, все тускнела несчастная жизнь их единственного сына. В кратких просветлениях рассудка, Николай Афанасьевич отдавал себе отчет о превратности судьбы, постигшей трех друзей. Самым близким человеком был для него Чернышев, но, выбившись на блестящий путь, его товарищ детства задался целью забыть скромность своего происхождения и изгладил из памяти все, чем был обязан Гончаровым. Не довольствуясь тем, что давно прервал с ними всякие отношения, он, в течение долгих лет, встречался постоянно с Натальей Николаевной при Дворе и в свете, ни единым словом никогда не осведомился о ее больном отце. Даже более того: она ясно чувствовала в вельможе-фаворите скрытую враждебность, вызываемую тенью унижительного для его тщеславия детства. Эта бессердечность болезненно отзывалась в Николае Афанасьевиче, и он до такой степени страдал, что впоследствии достаточно было произнести в его присутствии имя Александра Чернышева, чтобы тотчас вызвать буйный припадок.

Поведение Чернышева как бы еще более подчеркивалось противоположным отношением Бутенева к другу юности. Он не только переписывался с ним, но сохранил до смерти благодарную память о приютившей его семье и не упускал ни единого случая доказать это на деле. Заброшенный судьбою за границу, он, при всяком возвращении на родину, считал долгом нарочно съездить в Москву (а за отсутствием железной дороги это что-нибудь да значило), чтобы посетить бедного страдальца, всегда радостно встречавшего его. Трогательны были эти свидания, и с невыразимой скорбью вспоминал Бутенев о своем несчастном друге, молодость которого сияла ослепительным блеском, так быстро сменившимся непроглядной тьмой.

Когда окончилось воспитание Николая Афанасьевича, его номинально зачислили в какую-то коллегию, но Надежда Платоновна продолжала держать его в Москве под крылышком, чтобы вернее уберечь от возможных увлечений.

Еще совсем юношей он встретил в аристократических гостиных Наталью Ивановну Загряжскую, прославленную своей редкой красотой, и влюбился в нее с неудержимой страстью первой любви. Брак их, суливший обоим столько счастья, был скоро заключен к радости обеих семей.

За последние годы в газетных статьях появлялись рассказы и исторические справки о роде Загряжских, искажающие истину, и потому мне кажется уместным восстановить здесь семейную хронику во всем правдивом освещении событий.

Загряжские очень гордились как знатностью своего происхождения, так и влиянием при Дворе, не раз выпадавшим им на долю. Дед Натальи Ивановны, Александр Артемьевич Загряжский, был женат на Екатерине Александровне Дорошенко, внучке, по старшему сыну, последнего независимого гетмана Малороссии. При присоединении этого края царь Алексей Михайлович дал на прокормление знаменитому вождю запорожцев обширную волость под Москвою, которая и поныне сохранилась в его потомстве, – село Ярополец, в Волоколамском уезде. Только в 1717 году эта вотчина раскололась на две части. Наследство Александра Петровича, с могилой гетмана, досталось его единственной дочери и, как приданое, перешло к Загряжским, а неженатый брат его Петр оставил все свое состояние графине Чернышевой, с которой, по семейной молве, он был в связи. Впоследствии этот второй Ярополец был обращен в майорат, перешедший по женской линии графам Чернышевым-Кругликовым, владеющим им и теперь.

Другой Загряжский, дядя Натальи Ивановны, замечательный красавец, утонченный вельможа екатерининских времен, был женат на Наталье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана, в начале прошлого века известной всему знатному Петербургу оригинальностью своего ума и непреклонностью воли, породившей даже конфликт с императором Павлом. Породнившись с ней, Пушкин часто навещал ее, черпал в ее воспоминаниях материал для исторических трудов

и умел ценить ее самобытную натуру. Но любопытнее всего было рождение и детство самой Натальи Ивановны.

Отец ее, молодой, блестящий гвардеец, служил в Петербурге, и среди распущенного общества не раз выделялся своими необузданными выходками, которые благополучно сходили ему с рук. Думая обуздать эту пылкую натуру, его женили на баронессе Строгановой, – в расчете, что ее крупное состояние поправит его расшатанные дела, а влияние умной, добродетельной жены понемногу остепенит. Но Загряжский увидел в этом браке лишь средство зажить на более широкую ногу, еще неуждливее предаться карточной игре. Через немного лет совместной жизни, под предлогом, что служба не позволяет ему заниматься делами, а без хозяйского глаза обойтись нельзя, – он отвез жену в принадлежащий ему Ярополец, поселил ее с детьми в только что отстроенном под наблюдением Растрелли прекрасном дворце, а сам вернулся к веселой холостой жизни, лишь после долгих промежутков и на короткий срок появляясь в семье.

Тем временем затянулась война, и полк Загряжского был двинут к прусской границе. Не знаю, по какой причине, но его отряду выпала продолжительная стоянка в Дерпте. Лифляндские бароны радушно чествовали русских офицеров; балы и обеды чередовались в окрестных замках, и на одном из этих пиров, у самого влиятельного, гордого и богатого из феодалов, барона Липгардта, Загряжский впервые увидел его красавицу-дочь, слывшую самой завидной невестой всего края. Влюбиться с места и до безумия было свойством натуры женатого повесы; он отлично понимал, что добиться успеха обычным путем у этой чистой девушки, воспитанной в самой строгой нравственности в недоступном кругу, – прямо немыслимо, но преград для него не существовало. Он упросил легкомысленных товарищей ни слова не проронить о его женитьбе и принялся ухаживать за молодой баронессой со всем пылом страсти и опытом искусного ловеласа. Когда он убедился в вызванной взаимности, то без малейшего стеснения официально обратился к Липгардту, сватаясь к его дочери.

Отказ последовал в вежливой, но бесповоротной форме. Различие национальности и религии не допускало мысли о подобном союзе, и барон закрыл ему доступ в дом, а дочери запретил даже думать об отверженном претенденте. Но она принадлежала к тем возвышенным, экзальтированным натурам, которые, раз отдавши сердце, не способны его отобрать, а Загряжский тонко изучил трудную науку – тактику любви. Все было пущено в ход, и когда вскоре мир был подписан и полк должен был выступить обратно в Петербург, молодая баронесса не устояла перед тяжестью вечной разлуки и сдалась его мольбам. Она бежала из отцовского дома и подкупленным священником была обвенчана в скромной русской церкви со своим избранником, хорошо зная, что ни один лютеранский пастор не решился бы своим благословением навлечь на себя мстительный гнев всеильного, оскорбленного барона.

Покинув навсегда Дерпт после рокового шага, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении, описывала всю силу их обоюдной любви и терзания, причиненные ей его непреклонным решением. Барон остался верен себе. Он даже не ответил, а через приближенного уведомил, что баронесса Липгардт умерла для него и всей его родни, и потому дальнейшие извещения об опозоренной авантюристке будут вполне излишни.

Молодая женщина поняла, что к прошлому возврата нет после подобного разрыва, и всеми силами души привязалась к легкомысленному супругу, который один должен был замечать все. Может быть, в силу этой возвышенной, всепоглощающей любви, столь противоположной его развращенной натуре, или, проще, вследствие удовлетворения физической страсти, но достоверно только, что из многочисленных романов Загряжского самым скоротечным было увлечение так нагло обманутой девушкой.

Вскоре по прибытии в Петербург он сообразил всю безвыходность своего положения. Ввести в круг своих знакомых вторую жену при жизни первой вызвало бы негодование Строгановых, и при их влиянии и богатстве ему бы несдобровать. Открыть карты и выдать обманутую

жертву за привезенную любовницу? Но он также хорошо знал, что ему не укрыться от мести возмущенной немецкой знати, всегда сплоченной в защиту кастовых интересов, и, несмотря на всю его изворотливость, способной подвести его под строжайшую кару. Необходимо было схоронить концы в воду, и Загряжский задумал смелый план, который никому другому не пришел бы на ум.

В один злополучный день покинутая жена, томившаяся неведением в течение долгих месяцев, была радостно встревожена заливающимся звоном колокольчиков. Целый поезд огибал цветочную лужайку перед домом, и из первой дорожной берлины выпрыгнул ее неожиданный муж и стал высаживать сидевшую рядом с ним молодую красавицу. Лучшим доказательством прелести ее лица может служить следующий факт, анекдотически передаваемый в семье.

Когда случился пожар в Зимнем дворце, то вызванным войскам было поручено спасать только самые ценные вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную головку в напудренной прическе, и инстинктивным движением схватил и унес ее. Оправлена она была в незатейливую черепаховую рамку. Впоследствии, при сдаче вынесенных вещей в дворцовую контору, принимавший чиновник, недоумевая, осведомился, что побудило офицера спасти столь маленький, ничтожный предмет.

– Да взгляните хорошенько, – и вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!

Миниатюра была возвращена владелице. После ее смерти она досталась моей матери, которая, указывая на нее, говорила, что люди, знавшие Наталью Ивановну в молодости, твердили ей, что ей не тягаться красотой с матерью, а Наталья Ивановна, в свою очередь, повторяла, что не помнила свою мать, но выросла в предании, что хотя и напоминала ее чертами лица, но и сравниваться с ней не должна.

Винюсь в отступлении и продолжаю прерванный рассказ.

В обширных сенях яропольцевского дома произошла встреча так жестоко оскорбленных женщин. С легким сердцем и насмешливой улыбкой на устах произвел Загряжский еще невиданный *coup de theatre*², представив обманутую жену законной супруге. Это ошеломляющее открытие так расходилось с семейными понятиями нравственных баронов, что молодая женщина не могла прийти в себя, приписывая все случившееся роковому наваждению, но когда неумолимый язык всей обстановки, присутствие двух дочерей-подростков и резвого мальчугана-сына убедили ее в несомненности разбитой жизни и в полной бессердечности человека, в котором сосредоточивался весь ее мир, она, как подкошенный цветок, упала к ногам своей невольной и почти столь же несчастной соперницы.

Загряжский был не охотник до раздирательных сцен. «Бабье дело, – сами разберутся!» – решил он. Приказав перепрячь лошадей, даже не взглянув на хозяйство, а только допустив приближенную дворню к руке, поцеловав рассеянно детей, он простился с женой, поручив ее христианскому сердцу и доброму уходу все еще бесчувственную чужестранку, – и укатил в обратный путь. Расчет его оказался верен, и, пожалуй, лучшего исхода для несчастной жертвы его сладострастия нельзя было найти.

Поруганное чувство, уязвленное самолюбие ожесточают только мелкие или посредственные натуры. Возвышенные же очищаются подвигом страдания, как металл в горниле, и с простотой, вызывающей подчас недоумение, способны на забвение личного горя в заботливом утешении одиноко страждущих. К таким-то светлым личностям принадлежала первая жена Загряжского. Одного поверхностного взгляда было ей достаточно, чтобы оценить всю чистоту души соперницы, чтобы чутким сердцем измерить глубину горя, сломившего ее молодую жизнь.

² Неожданная развязка (*фр.*).

Грех ее мужа восстал перед ней во всей своей неприглядности, и она поставила себе задачей загладить его по мере сил. Почти вдвое старше обманутой женщины, так беспощадно брошенной, она окружила ее материнской лаской, и только благодаря ее постоянному уходу она могла выдержать тяжелую болезнь, вызванную роковым ударом, и через несколько месяцев по приезде, на ее же руках, родить дочь, названную Натальей.

С той поры все соседи, к которым мало-помалу проникла тайна увоза и кощунственного брака юной баронессы, только диву давались трогательному согласию, царившему между покинутыми изгнанницами. Самая нежно любящая мать не могла бы изодраться в этой постоянной ласке, в горьком опыте черпая слова утешения, пытаясь зажечь луч надежды хоть в далеком будущем, когда собственная ее смерть послужила бы к устрашению двусмысленного положения.

Но судьба решила иначе. Пережитое горе разрушило нежный организм; она зачахла, как цветок, пересаженный на чуждую почву, и ясно глядя на приближающуюся освободительницу-смерть, поручила Загряжской свою малютку-дочь. И, просветленная прощением, исстрадавшаяся душа отлетела в лучший мир.

Не напрасна была ее надежда. Мало того, что Загряжская так привязалась к сиротке, что не делала никакого различия между нею и собственными дочерьми, но приложила все старания, при помощи своей влиятельной родни, чтобы узаконить рождение Натальи Ивановны, оградив все ее наследственные права, а в то время этого было нелегко достигнуть. Да, впрочем, в последнем отношении и хлопотать, по-видимому, не стоило. Когда Загряжский окончил в Петербурге свою бесшабашную жизнь, прожив и строгановское приданое, и личное состояние, – из всех богатств точно чудом уцелел один Ярополец, и то страшно обремененный долгами.

Жена скончалась до него, оставив, кроме сына Григория, трех дочерей: Екатерину, Софью и Наталью, – последнюю значительно моложе других, – в весьма тяжелом материальном положении.

Большую часть времени они проживали в деревне, отказывая себе во всем, чтобы иметь возможность повеселиться в Москве с затаенной надеждой устроить там свою судьбу. Года быстро проходили; некрасивые дочери Строгановой видимо блекли, когда Наталья Ивановна в полном расцвете красоты обратила на себя внимание Николая Афанасьевича Гончарова, одного из самых завидных московских женихов, и брак ее радостным лучом пригнул разоренную семью. Вскоре Екатерина Ивановна была назначена фрейлиной к императрице Марии Федоровне, а Софья Ивановна переселилась к новобрачным, что впоследствии послужило поводом к ее личному счастью.

II

Медовый месяц и первые годы протекли для четы Гончаровых в упоении любви и радостной безоблачной жизни, но мало-помалу зловещие тучки появились на небосклоне.

Афанасий Николаевич, отдавая сына от дел, тем самым скрывал от него значение его безумных любовных трат, и, несмотря на некоторую задержку в получении определенных сумм или даже отказ в непредвиденных субсидиях, – молодой человек слепо веровал в неприкосновенность миллионного состояния до той неизбежной минуты, когда старик, потеряв голову в виду приближения грозной катастрофы, решил открыть ему всю правду и с присущим ему эгоизмом не задумался свалить тяжелую обузу запутанных дел и подорванного кредита на его неопытные плечи, а сам тотчас же укатил за границу, где и поселился на несколько лет.

Николаю Афанасьевичу эта задача оказалась по плечу. Он без всякого сожаления отказался от праздной московской жизни, переселился с семьей на Полотняные Заводы и с неутомимой энергией, напоминавшей прадеда, принялся наводить порядки. Бесшабашное растас-

кивание барского добра прекратилось всюду. Под зорким хозяйским оком фабрики опять заработали на славу. Хотя жизненный обиход стоял на прежней широкой ноге, но баснословные затеи и причуды не шли на ум, и основы состояния были до того прочны, что после пятилетнего упорного труда Николаю Афанасьевичу удалось залечить все отцовские прорухи. Он аккуратно высылал ему условленное содержание, тщательно наблюдал за уходом за больной матерью и, глядя на своих подрастающих детей, тешил себя мыслью, что своим трудом предотвратил крушение и упрочил их будущность.

Как раз в это время наполеоновские войны нарушили мир и равновесие Европы. Была ли это причина или только подходящий предлог, но старик Гончаров, несмотря на увещания сына продолжить свое пребывание за границей, собрался в дальний путь и, – нечего таить правду, – нежеланным гостем появился у семейного очага. Взамен признательности к сыну в сердце его запало семя оскорбленного самолюбия. Ему чудилось, что сын кичится перед ним своей деловитостью и умственным превосходством, а многим приближенным, жаждущим снова половить рыбу в мутной воде, было как нельзя более выгодно разжечь затаенное недоброжелательство. Что смутно пугало Николая Афанасьевича, стало скоро совершаться.

От критики незаметно перешли к отмене даваемых им распоряжений. Молодое самолюбие возмущалось, страдало и с жгучим чувством обиды должно было ступать перед отцовской властью. Ежедневные недоразумения и дразги подрывали добрые отношения и привели к тому, что старик окончательно устранил сына от всех дел, самонадеянно приняв снова бразды управления.

Ни зловещий урок, ни года, ни скитания за границей ему впрок не пошли, и в эпоху рождения Натальи Николаевны жизнь на Полотняных Заводах снова пошла по-старому, – своим безрассудством Афанасий Николаевич точно стремился наверстать степенно прожитые годы. Тяжело отзывалось это зрелище на впечатлительной, нервной натуре сына. Немым, беспомощным свидетелем следил он, как его труды разбивались в прах в угоду мимолетному капризу, безотрадная будущность снова нависала над его детьми, а их уже было пятеро: первенец и наследник майората Димитрий, Екатерина, Иван, Александра и новорожденная Наталья. Перед глазами облик страждущей матери, подверженной частым буйным припадкам, и по временам зловещий призрак наследственности, сказавшийся еще в ее двух братьях, – все складывалось, чтобы беспощадно терзать напряженный ум и наболевшую душу.

Тяжелый достопамятный двенадцатый год с тревогой о семье, приютившейся на Калужской дороге, так близко от поля сражения, с остановкою производства и торговли в то время, когда мотовство вело к гибели, – все вместе взятое переполнило чашу испытаний и медленно подготовляло взрыв рокового, неизлечимого недуга.

Французская кампания двумя событиями отразилась на семейной жизни Загряжских. Последнему отпрыску этого рода, служившему в гвардейском пехотном полку, было суждено не вернуться из похода. Старая наша няня, из дворовых Полотняного Завода, данная в приданое матери, когда она выходила замуж за Пушкина, рассказывала мне, что после одной из кровавых битв (имени ее она не помнила, а может быть, и не знала), в наступивший момент перемирия, Григорий Иванович, сидя на барабане, только что принялся пить стакан чая, как шальная картечь пронеслась в воздухе, угодила в него и разорвала пополам юношу-офицера. Этот рассказ так занял мое детское воображение, что я немедленно обратилась к матери, допытываясь новых подробностей, и мне еще теперь помнится ее ответ:

– Удивительно, что люди хотят всегда все лучше знать самих господ! В семье никто не мог допытаться, как был убит дядя Григорий. Как ни хлопотала сестра его, Екатерина Ивановна, – другого ответа не было, как то, что он попал в список без вести пропавших. После сражения никто его ни живым, ни мертвым не увидел.

До своего преждевременного конца Григорий Иванович был обречен на жизнь, полную лишений, но, точно по злой иронии судьбы, в скором времени его ожидало блестящее наслед-

ство. Родной брат его отца, – не смею утверждать, был ли это муж Натальи Кирилловны, или другой, холостой, вполне равнодушный к горестной участи племянника и племянниц, – скончался, сохранив неприкосновенным свое значительное состояние, которое им и досталось по закону. На долю Натальи Ивановны Гончаровой пришелся при разделе уже упомянутый Ярополец, а чудное Тамбовское имение Загряжино, обогатив Софью Ивановну, преобразило бедную, стареющую деву в очень завидную партию.

Впрочем, сопоставлением чисел можно сделать вывод, что судьба его была уже решена до получения дядюшкиного наследства.

Во время отступления наполеоновских армий нашим отрядом, конвоирующим пленных, был доставлен в гончаровский дом полуживой окоченелый офицер. Его приняли с русским радушием; несчастье заслонило вражду, и весь женский персонал при виде измученного пленника наперерыв изошрялся в средствах вырвать из рук смерти уже намеченную жертву.

Пленный оказался уроженцем Сардинии, впоследствии известным на литературном поприще графом Xavier de Maistre. Ран он никаких не имел, но истощение южной натуры, подвергнутой тяжелым лишениям при невыносимой стуже, было до того велико, что борьба между жизнью и смертью затянулась на месяцы, и следы ее наложили отпечаток до самой могилы. Мало-помалу, отстраняя других, Софья Ивановна завладела правом исключительного ухода за больным, поддаваясь все сильнее обаянию его, на самом деле, выдающейся личности. Обширное образование служило достойной рамкой природному уму и тонкой наблюдательности, и, что гораздо реже случается, сливалось с замечательной добротой и кротостью характера. Он, со своей стороны, оценил ее неустанную заботу и проблески более нежного чувства, тщательно скрываемого, – и когда, по выздоровлении, должен был наступить час вечной разлуки, в голове его созрел план соединить их обоюдную зрелость, несмотря на опасения гнева семьи de Maistre, в особенности старшего брата, знаменитого Жозефа де Местр, ярого католика и поборника иезуитов.

Это, может быть, была одна из причин, побудивших его променять свою знойную родину на наш неприглядный север. Софья Ивановна приняла с восторгом его предложение и, покинув гостеприимный гончаровский кров, переселилась с мужем в Петербург.

По возвращении из Парижа, император Александр I назначил ему аудиенцию, желая выразить участие зятю любимой фрейлины его матери, и, пораженный его бледностью и изможденным видом, он ласково заметил:

– C'est la compagne de Russie qui vous a valu la perte de votre sante... (Из-за войны с Россией вы потеряли здоровье...) – И, движимый состраданием, назначил ему пенсию в две тысячи рублей, которую граф преисправно получал до самой смерти. Болезненный вид оказался прибыльным, – часто острили в семье, так как он умер, достигнув 90 лет, на несколько месяцев пережив жену, в 1851 году в Стрельне, в доме моих родителей, приютивших его одиночество, и похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище.

В то самое время, когда силой обстоятельств устраивалась дальнейшая судьба Софьи Ивановны, счастливая звезда Натальи Ивановны закатывалась навеки. Последним родился у нее сын Сергей, годом моложе моей матери, и почти одновременно гнетущая меланхолия мужа переродилась в более острую форму. Мысли путались, ясность сознания затмевалась, малейшее противоречие вызывало вспышки неудержимого гнева. Все окружающие стали припоминать первые признаки заболевания Надежды Платоновны, и вскоре нельзя было более сомневаться, что наследственность заявляла свое зловещее право.

Наталья Ивановна, в сопровождении домашнего доктора, собралась отвезти больного в Москву, но путешествие не обошлось благополучно. Беспокойство Николая Афанасьевича все росло, и где-то на постоялом дворе оно разразилось приступом бешеного безумия.

Психическим больным свойственна странная черта: люди самые близкие, дорогие, почти мгновенно становятся им в тягость, и чем сильнее была прежняя привязанность, тем ожесто-

ченнее становится враждебность. То же превращение постигло и пламенную любовь к красавице жене.

Следуя тогдашней, весьма распространенной моде, чтобы неизгладимо сохранить память блаженно прожитых дней, Николай Афанасьевич подвергся татуировке, и на правом предплечье воспроизведен был вензель жены с добавкой нежного символа. В неудержимом порыве ненависти он изгрыз все мясо, чтобы стереть след прошлого, и, причинив себе страшную, зияющую рану, в изнеможении впал в какой-то странный, летаргический сон. Так продолжалось более суток. Доктор, наблюдавший за ним, начинал питать надежду, что это послужит признаком выздоровления. Он ссылаясь на научные примеры, когда больной, предоставленный возрождающей силе природы, пробуждался просветленным, со смутным представлением пережитого кошмара. Но этим розовым мечтам суждено было разбиться о близкую грозную опасность.

Рана за часы отдыха страшно воспалилась, и опытному глазу не трудно было различить признаки надвигающейся гангрены. Другого лечения тогда не признавали, как прижигание раскаленным железом. Немедленно полетел гонец в Москву за доктором, светилом науки, и, когда он приехал, несчастной Наталье Ивановне предоставлено было решить грозную дилемму: не тревожить благодетельный сон, может быть, дарующий исцеление, но зато грозящий смертью, или, спасая жизнь, добровольно отказаться от хотя бы и туманной надежды. Для любящего сердца колебаний не могло быть. Железо излечило видимую рану, обрекая несчастного на сорокалетнюю душевную муку.

Болезнь Николая Афанасьевича вызвала переселение всей семьи в Москву, в собственный дом на Никитской, за исключением младшей внучки Наташи, к которой старик Гончаров успел сильно привязаться. Он настоятельно потребовал, чтобы ее оставили на его попечение. Постоянный надзор за больным мужем и заботы о многочисленной семье побудили Наталью Ивановну согласиться на это желание.

Самые далекие и отрадные воспоминания детства Натальи Николаевны возникали и связывались с этим пребыванием в Полотняных Заводах. Дед в ней души не чаял, и, глядя на него, все прихлебатели и приживальщицы, вся многолюдная челядь наперерыв старались угодить ей. Не успевала она выразить желание – как оно уже было исполнено. Самые затейливые, дорогие игрушки выписывались на смену не успевших еще надоесть; глаза разбегались и аппетит пропадал от множества разнообразных лакомств; от нарядов ломились сундуки, и все только вращалось около единой мысли: какую бы придумать новую, лучшую забаву для общей любви. Она росла, словно сказочная принцесса в волшебном царстве!

На шестом году пробудилась она от очарованного сна, вступив в суровую школу. Смерть деда вернула ее в родную семью.

Перемена обстановки глубоко врезалась в детскую память, и Наталья Николаевна до старости помнила все подробности московской встречи.

Стояла зима: ее на руках вынесли из возка, укутанную в драгоценную соболью шубу, крытую алым бархатом, и принесли в гостиную. Братья и сестры обступили ее, с любопытством разглядывая лицо, ставшее им чуждым. Мать сдержанно поцеловала и, с неудовольствием оглядывая дорогой наряд, промолвила: «Это преступление – приучать ребенка к неслыханной роскоши!» Потом она сдала оробевшую девочку на руки нянюшек и строго заметила: «первым делом надо Наташу от всего привитого к ней отучить».

И не прошло двух дней, как дорогая шуба, предмет общего восхищения, преобразовалась в «палатинки» и муфты для трех сестер, и младшей, хотя и законной обладательнице меха, досталась худшая из них.

– Даром, что маленькая, а все-таки очень уж обидно было! – завершила мать свой рассказ.

Дедушкино баловство ничуть не отразилось на мягком характере ребенка. Она безропотно подчинилась суровому режиму, введенному в доме, и впоследствии выносила его гораздо легче старших сестер.

Жизнь в Москве

Наружно жизнь Гончаровых была обставлена по-прежнему, но, чтобы достичь этой возможности, внутренний обиход подвергался урезкам и лишениям. Об обновках думать не приходилось, а надо было донашивать то, что становилось непригодным старшим; не только выражение какого-нибудь желания, но необдуманная ссылка на прошлое ставилась в вину; не только детский каприз, но проявление шумного веселья строго преследовалось, да и не до него было при той тяжелой обстановке, в которой протекло детство Гончаровых.

Буйным сценам, неистовым крикам, наполнявшим весь дом, даже ночью не дающим покоя, не видно было конца. Наталья Ивановна, для ограждения детей, тщетно пыталась добиться признания мужа сумасшедшим, чтобы иметь возможность поместить его в лечебницу. Достаточно было больному проведать или самому догадаться, что соберется комиссия для этой цели, чтобы, на удивление семьи и домашних, он проявлял такое самообладание, что в течение целых двух часов ни одно неразумное слово не срывалось у него с языка. Мало того, что он толково отвечал на самые замысловатые вопросы, но под конец он со сдержанной грустью и полным достоинством намекал на затаенную вражду жены, которая ради корыстных целей изощрялась в преследованиях. Кончалось тем, что призванные судьи проникались глубоким состраданием к его мнимым бедствиям. При прощании с Натальей Ивановной они решительно отказывали в ее ходатайстве, и за вежливыми фразами ей не трудно было разобрать предубежденное недоумение или даже немой укор. А эти краткие победы над больным организмом всегда оплачивались неизбежным припадком, где буйство проявлялось с удвоенной силой.

Наталья Николаевна до самой смерти не могла вспомнить без трепета дикую сцену, где жизнь ее висела на волоске. Ей тогда было лет двенадцать. Когда у него являлось желание, Николай Афанасьевич выходил из своей половины в назначенный час и обедал за столом с семьей и домочадцами. Тогда поспешно убиралась водка и вино, потому что незначительной доли алкоголя было достаточно, чтобы вызвать возбуждение; если же ему удавалось перехватить рюмку или стакан, то трапеза неминуемо оканчивалась бурным инцидентом. Тем не менее, по заведенному порядку, никто не имел права выйти из-за стола, пока сама хозяйка, сидящая во главе, не подавала к тому условный знак своей салфеткой. Тогда все стремглав спасались наверх, в мезонин, где тяжелые железные двери, не поддающиеся никакой человеческой силе, оберегали от возможной опасности.

В этот зловещий день мать, смолodu еще немного близорукая, не заметила надвигавшейся бури и очнулась от своей задумчивости только тогда, когда последний из обедавших уже подходил к двери, оставив ее одну с разъяренным отцом. Она ринулась за ними, но всеобщее бегство только ускорило взрыв. С налитыми кровью глазами и с ножом в замахнувшейся руке Николай Афанасьевич в свою очередь бросился нагонять ее. Опасность была очевидна.

Голова кружилась, сердце учащенно билось, ноги подкашивались, а инстинкт самосохранения внушал, что достаточно оступиться, чтобы погибнуть безвозвратно. Лестница казалась нескончаемой; с каждой ступенью отец настигал ее ближе; огненное дыхание обдавало волосы, и холодное лезвие ножа точно уже касалось открытой шеи. Наверху, в щель приотворенной двери, с замиранием духа следили за перипетиями захватывающей сцены.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.